



Леонид Котляр

Моя солдатская судьба

Пропонований текст — спогади Леоніда Ісааківича Котляра, рядового Червоної Армії, що присвячені рокам війни, окупації та Голокосту на теренах України, становищу єврея-остарбайтера, проявам антисемітизму в післявоєнний період. Як живе свідчення епохи вони мають цінність для кожного, хто цікавиться духовним світом, ментальністю людей тієї доби.

This text is the memories of Leonid Isaakovich Kotlyar about his life during the World War II Nazi occupation and the soviet anti-Semitism that followed. They are one of the witness to the horrible epoch of Holocaust and Soviet anti-Semitism and therefore are important for everyone, who deals with these issues.

Весть о судьбе

Полные 83 года Леонида Исааковича Котляра, киевлянина, учителя с полувековым стажем, солдата Большой войны, — это его несомненное, как поется, богатство, духовное содержание которого он передает нам с бесконечно доброй и радующей готовностью.

В воспоминаниях Леонида Исааковича его жизненный опыт предстает, конечно, уникальным — по тому, как можно было 19-летнему юноше с яркой «еврейской внешностью» выжить в немецком плену, «жениться» в глухом украинском хуторе под оком бдительной оккупационной власти, пройти три медкомиссии и оказаться по «разрядке» со значком «OST» в «Великой Германии»... И по тому, как вполне стандартные испытания, обрушенные «родной» властью на каждого, кто чудом уцелел при власти чужеземной, сочетались с «прицельными» издевательствами вполне в рамках «индивидуальной инициативы» череды советских столоначальников, сквозь строй которых прошел вчерашний солдат — от первых дней «чистки» у «своих» (в известном СМЕРШе), от дней студенческих с исключением из Киевского пединститута за «неблагонадежность» до снова-таки стандартных препятствий для человека с «пятой графой», до «чернобыльского» 1986 года в полесской школе, когда не выдержало стрессовых перегрузок сердце жены...

Вместе с тем универсальны, как мне кажется, те смыслы, связываемые нами с личностными качествами, которые оказались спасительными для Леонида Исааковича на критических поворотах его жизненного пути. Универсальна, прежде всего, такая, казалось бы, простая и вместе с тем такая основополагающая способность, как способность оставаться человеком, оставаться самим собой в своем душевном строе, какими бы печатями ни метили своих подданных те или иные режимы.

«Моя солдатская судьба» — это человеческий рассказ о том, что может происходить в душе каждого, кто оказывается — день за днем, год за годом — у своей последней черты.

Свидетельства современников, реальных, во плоти и крови субъектов своей жизни и жизни малых и больших социальных сообществ, авторов своей правды — с любой, сколь угодно «приземленной» точки зрения (в войну «правды окопной», хотя может быть и еще более «низкая», но психологически не менее достоверная правда плена, жизни под оккупантами, партизанской войны на несколько фронтов...) — не воспринимаются с маршальских и официально-академических «высот». Пришлось и Леониду Исааковичу натолкнуться на начальственную глухоту в советских военкоматах, в постсоветских советах ветеранов: какие, мол, «солдатские воспоминания» — у пленного мальчишки и подозрительного остарбайтера?!

Жанр преамбулы к публикации не предполагает аналитических комментариев. Естественно, что как «в кадре» воспоминаний, так и «за кадром» — очень сложные, контroversийные реалии весьма и весьма неоднозначного исторического процесса... У историков-источниковедов — свои заботы с «живым документом», с архивными бумагами все же в чем-то проще. Мы исходим из того, что научная история Холокоста, при всех сложностях работы с «живыми историями», никогда их не отвергала. И продолжаем эту традицию.

И еще мы исходим из того, что такие тексты, как «Моя солдатская судьба» являются в гуманитарно-культурном измерении вполне самостоятельными. А потому и предлагаем воспоминания Леонида Исааковича Котляра вниманию нашего читателя.

Война идет уже скоро три года, а представления, какая она на самом деле и как мало на ней зависит от собственного выбора, все еще нет.

Константин Симонов.
«Из записок Лопатина»

Часть I. **Собственный выбор**

Смолоду моей мечтой, страстной и целомудренной, был театр. Но я не смел никому в этом признаться. А время моей юности было суровым, хотя нам оно и казалось обычным, подчас даже безоблачным. Будущее представлялось нам светлым, и мы охотно мечтали. Даже голод 33-го года не лишил нас оптимизма и советского патриотизма. А то, что любого из нас, десятиклассников или девятиклассников, могли вызвать в райком комсомола и предложить на выбор одно из пяти-шести военных училищ, — это мы не считали преградой для осуществления заветной мечты, а лишь отсрочкой. Не пойти было нельзя: родине надо, родина требует, а ты — комсомолец, значит, должен идти. Так мы рассуждали и считали, что это правильно. Не говоря уже о тех нередких случаях, когда вызов в райком и мечта совпадали.

Лично меня чаша сия миновала, но и без вызова в райком осуществление заветной мечты оказалось невозможным после окончания школы: весной 1939 года был принят новый закон о всеобщей воинской повинности, согласно которому лица со средним образованием призывались в армию по достижении 18-ти лет. Так что меня в 1940-м ожидала армия. Документы в институт от нас, в связи с призывом в армию, вооб-

ще не принимали. Тем не менее, день 17 мая 1940 года я считал самым счастливым в своей жизни. К школьным экзаменам я готовиться не собирался, так как срезаться не боялся, а оценки меня не интересовали. Впереди, до призыва в армию, было несколько месяцев вольготного житья.

Безмятежное лето 1940 года, последнее безмятежное лето моей жизни! Для меня, городского жителя, оно было удивительно хорошим: все лето я работал воспитателем в детском противотуберкулезном санатории в Будаевке, под Киевом. А с 1-го сентября начал работать старшим пионервожатым в своей 91-й школе. Директор по фамилии Приймачок сказал: «Будешь работать, пока не заберут в армию».

Призвали меня лишь в декабре и привезли в Прибалтику, которая к тому времени стала уже советской (границы Прибалтики были закрыты для въезда советских граждан). Но прослужил я недолго. Во время ночных занятий провалился под лед речушки, заболел воспалением легких и оказался в Шауляйском военном госпитале, покинув свою учебную батарею, входившую в состав артиллерийского полка (воинская часть № 2268) и дислоцировавшуюся тогда в районе г. Паневежиса (Литва). Потом меня комиссовали, признав годным к нестроевой службе в военное время, демобилизовали и отправили домой. В справке, выданной Окружной комиссией, значилась грозная аббревиатура тbc (туберкулез).

Я вернулся в Киев 18 мая 1941 года. Поскольку я числился в запасе 2-й категории, на войну меня взяли не сразу, а лишь 11 июля, когда немцы оказались на самых подступах к Киеву. Небольшой командой, сформированной в Сталинском рай-

военкомате Киева, мы ступили перед закатом солнца на возведенный тогда, рядом с Цепным мостом, временный деревянный мост («Наводницкий»), перешли на левый берег Днепра и заночевали под соснами в Дарнице. В пешем строю, в гражданской одежде, двигались мы на восток, провожаемые и недобрыми взглядами, и добродушно-насмешливыми вопросами о причинах нашего продвижения в противоположную от фронта сторону. Мы отшучивались, как могли. Совесть наша была спокойна, как у любого солдата, который выполняет приказ.

С самого начала Великой Отечественной войны и до самого ее конца я никак не мог понять, почему для Сталина начало войны оказалось внезапным, абсолютно неожиданным. В армии никто не верил Гитлеру, войну по-прежнему считали неизбежной, несмотря на договор и поездку Молотова в Германию. Политрук нашей батареи постоянно твердил, что Гитлер может начать войну в любой момент. И когда нас ночью поднимали по тревоге (ночные занятия проводились не менее двух раз в неделю), мы, становясь в строй, никогда не знали: учебная это тревога или боевая. И всегда ожидали боевой.

Затем нашу команду погрузили в эшелон и вскоре мы оказались в г. Мариуполе, «у самого синего моря», в бывшем осоавиахимовском лагере, где всю ночь и начало следующего дня спасались от проливного дождя под навесом лагерной столовой, на врытых в землю столах и скамьях, и под ними. Утром мы узнали, что отсюда почти ежедневно отправляются на фронт маршевые батальоны.

В лагере, рассчитанном на 5–6 тысяч человек, нас оказалось около ста



*Предвоенная зима 1941 г.
Курсант учебной батареи
Леонид Котляр.
В/ч 2268, г. Паневежис, Литва*

тысяч. Пропускная способность столовой была так мала, что вся эта масса народу кормилась в несколько очередей, так что завтрак длился до самого обеда, а обед — до ужина. В перерывах мы лежали и сидели на траве, там же и ночевали. А когда приезжали с фронта представители боевых частей и соединений за пополнением (мы их называли «покупатели»), нас строили в шеренгу. Каждый ВУС (военно-учетная специальность) имел свой номер; надо было становиться в строй, когда называют твой ВУС. Подтверждающих документов не требовалось, т.к. паспорта у нас уже отобрали, а красно-

армейских книжек еще не выдали. Каждый раз, когда называли мой ВУС (№ 50 — связисты артиллерии), я становился в строй. И каждый раз меня отставляли, когда я предъявлял свою справку. Мне стало ясно, что если я в самом деле хочу оказаться на фронте, то о справке, полученной в госпитале, надо забыть.

Впервые за время войны мне не спалось всю ночь: надо было решать, чего же я на самом деле хочу. Надо мной простиралось густо усеянное звездами южное небо, в котором вспыхивали изредка зарницы печей «Азовстали». Чего только не делают с 19-летним человеком далекие звезды в темную ночь! Они смотрят на тебя из бездонной глубины в самую душу, смотрят глазами друзей-киевлян, обретенных по дороге из военкомата в запасной мариупольский полк: глазами Николая Лазебного и Жени Перепелицы, с которыми ты сегодня распрощался и которые ушли в сопровождении «покупателей» на фронт. Этой ночью произошло то, чего раньше со мной никогда не бывало. Я заглянул себе в душу, как заглядывают в глубокий колодец, и понял, что кривил душой, когда предъявлял свою справку. В строй всегда становилось больше народу, чем требовалось, и если кто-то чувствовал себя морально неготовым к отправке на фронт, он мог не становиться и спокойно ожидать следующего раза. Никто никого не подгонял и не заставлял. Конечно, меня в мои 19 лет как-то оправдывало то, что я хочу, чтоб окружающие оценили тот факт, что я уйду на фронт добровольно, несмотря на имеющуюся у меня справку.

В ту ночь я порвал свою справку на мелкие кусочки, а через десяток дней был уже на фронте. Потом мно-

го раз видел смерть, смотрел ей в глаза, но ни разу не пожалел о порванной справке, даже когда попал в плен.

Плен

Известно ли вам, как попадают в плен? Не добровольно сдаются, а оказываются в плену?

Все мы крепко помнили слова политработников о последней пуле. Той самой, которую следовало беречь для себя. Все мы твердо знали: в плен попадают только предатели и изменники Родины — боец должен сражаться до последней гранаты или патрона, а последнюю пулю беречь для себя...

Но никто из нас, четырнадцати человек, оставшихся в живых 9 сентября на командном пункте 1-го батальона 756-го стрелкового полка, этой последней пулей не воспользовался. И никто из нас не чувствовал своей вины в том, что оказался в плену. Отступить мы не могли, потому что батальон получил приказ прикрывать отступление полка и дивизии. (Замечу в скобках, что тогда я, конечно, не мог знать, успел ли отступить 756-й стрелковый полк и вся 150-я дивизия; не знал я об этом и после окончания войны. И только много лет спустя узнал я о судьбе полка, отступление которого мы тогда прикрывали. Но об этом — позже.) В ночь на 9 сентября 1941 года мы, вооруженные, главным образом, винтовками и гранатами, держались, сколько могли, в голой приднепровской степи левобережья, километрах в сорока от Каховки. Еще ночью нас слева и справа обошли немцы, а мы все еще держались, когда немцы на машинах и в пешем строю двигались по степи в обход наших подразделений. Затем они накрыли горсточку

нашей обороны сильным артиллерийским огнем, какого мы до сего момента на себе еще не испытывали. И все было кончено.

Когда наступила внезапная тишина, перестали рваться мины и сыпаться на голову земля, я приподнял голову, огляделся и увидел командира батальона и нескольких наших связистов с поднятыми руками и немцев с автоматами вокруг. Я еще, возможно, успел бы бросить гранату, но тогда они расстреляли бы всех, кто стоял с поднятыми руками, а затем и остальных. На такой шаг я не отважился и тоже поднял руки.

Нас, попавших в плен, посадили плотной группой рядом с нашими окопами на краю огромной воронки от артиллерийского снаряда. А на противоположном краю воронки встали караулившие нас немцы: один с ручным пулеметом, другой — с автоматом. Немцы запретили нам двигаться и разговаривать. По сей день помню лицо немца с автоматом. Своей красно-рыжей щетиной неделю не бритой бороды он, как родной брат, был похож на сидевшего среди нас одессита, сержанта Бейкельмана. Мне трудно передать, что я чувствовал, глядя на карауливших нас немцев. Видимо, чувства мои не отличались от того, что испытывает приговоренный к смерти, зная, что до расстрела ему остались, быть может, считанные минуты. Сердце мое сжималось при мысли, что до расвета меня уже не будет.

Если бы кто-то из нас захотел исправить свою ошибку (не воспользовался последней пулей!), то возможностей для этого было предостаточно. Можно было очень легко получить эту пулю (да что — пулю, целую автоматную очередь!) от немца в любой момент. Этого добра немцы для

нас не жалели. Они пристреливали каждого, кто не мог идти дальше, когда гнали нас голодных, мучимых жаждой, раненых, выбившихся из сил, по пыльным, безводным херсонским степям; стреляли в любого, кто пытался взять кусок хлеба, картофелину или кукурузный початок из рук женщин, проходивших обочиной дороги; в каждого, кого заподозрят в попытке сбежать, или кто откажется выполнить команду конвоира. Но никто не спешил умирать, умирать просто так, когда от твоей смерти ни для кого и ни для чего уже не могло быть никакой пользы. И я не хотел умирать, хотя у меня, сверх перечисленных, была еще одна дополнительная возможность получить пулю от немца: сделать два шага вперед, когда в очередной раз звучал и повторялся приказ: «Жиды, выходи!» Впрочем, если бы по этой команде из строя вышел бы не еврей никто не стал бы возвращать его в строй: он был бы расстрелян без особых выяснений и расспросов. Но я не сделал этих двух шагов, а товарищи по оружию и по плену меня не выдали. Среди нас не нашлось ни единого предателя.

Сидевший рядом со мной в воронке командир отделения сержант Бевз заговорил едва слышно, почти не разжимая губ: «Леня, ты не признавайся. Тебя никто не выдаст».

Я чуть заметно кивнул. В груди у меня шевельнулась надежда. Быстро и незаметно я достал из кармана гимнастерки красноармейскую книжку и аттестат зрелости, изорвал их на мелкие части и зарыл в рыхлую землю воронки прямо у себя под ногами. Благо, движения моих рук скрывала фигура сидевшего впереди меня. Потом я вспомнил о черной пластмассовой капсуле-ме-

дальне в маленьком переднем кармашке брюк, где хранился свернутый в тоненькую трубочку листик бумаги с моей фамилией, именем, отчеством, национальностью... Уничтожив и зарыв остатки медальона, я стал вместе со всеми ждать дальнейших событий.

Я еще не знал тогда, что нам предстоит мучительные и беспросветные дни изнурительных переходов через Борислав и Каховку, через Николаев, по понтонному мосту через Буг в село Варваровку, где начинал свое существование Николаевский лагерь для военнопленных. Не помню, сколько было промежуточных (этапных) лагерей между Бориславом и Николаевом, но хорошо помню, как в каждом из них по утрам неизменно раздавалась команда: «жиды — выходи! коммунисты — выходи!» И всякий раз не было случая, чтобы не отыскалась хоть одна жертва: кто-нибудь кого-нибудь обязательно выдавал немцам.

А впервые я услышал эту команду перед вечером 9 сентября, когда нас, собранных со всего участка фронта, построили в две шеренги в километре от той самой воронки.

«Жиды — выходи!»

По дороге туда немцы не мешали нам общаться. Я шагал рядом со своим другом и ровесником ленинградцем Ильей, сержантом, который уже успел выйти из госпиталя после ранения, полученного в первый день войны, и оказался в Мариуполе, а затем вместе со мной и в маршевом батальоне, ставшим 1-м батальоном 756-го стрелкового полка.

Там, на краю воронки, еще три человека получили заверения в том, что их никто не выдаст: командир взвода старшина-коммунист Давиденко и два

сержанта-еврея: Илья и Бейкельман (фамилию Ильи никак не могу вспомнить). Мы с Ильей, увидев, что приближаемся к большой группе военнопленных, решили «потерять» друг друга из виду. Мы ясно понимали, как мало у нас шансов скрыть свою национальность, даже если мы не будем вместе. Оставаясь вместе, мы эти шансы свели бы к нулю.

Поэтому, когда неизвестно откуда взявшийся переводчик подал команду строиться в две шеренги, а на проселочной дороге перед нашим строем остановился открытый легкой автомобиль, мы с Ильей были уже на разных флангах строя. Перед строем, не выходя из машины, стоял немецкий офицер. Тогда я еще не умел по поганам различать их звания.

Немец заговорил по-русски, безуспешно пытаясь правильно произносить слова, смысл которых сводился к тому, что отныне все мы должны честно служить великой Германии. По окончании его речи сразу же прозвучала команда: «евреи и коммунисты — два шага вперед!» Из строя вышли не более шести-семи человек, в том числе и Бейкельман, хотя ему тоже пообещали, что его никто не выдаст. Вышедших отвели в сторону. На противоположном фланге что-то произошло, и перед строем оказался Илья. Его подвели к вышедшему из машины немецкому офицеру, они объяснились, и Илью вернули в строй.

При построении я постарался оказаться во второй шеренге. И вдруг увидел знакомого солдата из нашего батальона. Я знал про него только то, что он из Донбасса. Мы встретились с ним глазами, и я понял, что сейчас он меня выдаст. Он уже и воздух вдохнул, чтобы сделать это. Но тут стоящий рядом Бевз толкнул его лок-

тем в бок и что-то ему шепнул. Донбассец осекся. Больше он не предпринимал попыток выдать меня, а я старался не попадаться ему на глаза.

Как-то под вечер, на одном из этапов нашего следования в Николаев наш конвой придумал остроумный способ выявить затаившихся евреев: из строя стали вызывать и собирать в отдельные группы людей по национальностям. Начали, как всегда, с евреев, но никто не вышел, и никого не выдали. Затем по команде выходили и строились в группы русские, украинцы, татары, белорусы, грузины и т.д. В этой сортировке я почувствовал для себя особую опасность. Строй пленных быстро таял, превращаясь в отдельные группы и группы. В иных оказывалось всего по пять-шесть человек. Я не рискнул выйти из строя ни когда вызывали русских и украинцев, ни, тем более, — татар или армян. Стоило кому-нибудь из них усомниться в моей принадлежности к его национальности — и доказывать обратное будет очень трудно. Я лихорадочно искал единственно правильный выход. Когда времени у меня почти уже не осталось, я вспомнил, как однажды в минометной роте, куда я ежедневно наведывался как связист штаба батальона, меня кто-то спросил о моей национальности. Я предложил им самим угадать. Никто не угадал, но среди прочих было произнесено слово цыган. За это слово я и ухватился, как за соломинку, когда операция подошла к концу, и нас осталось только два человека. Иссяк и список национальностей в руках у переводчика, который немедленно обратился к стоящему рядом со мной смуглому человеку с грустными навывкате глазами и огромным носом: «А ты какой национальности?» —

«Юда!» — нетерпеливо выкрикнул кто-то из любителей пошутить.

Кто-то засмеялся, слышались еще голоса: «юда! юда!», но тут же все смолкло, потому что крикуны получили палкой по голове за нарушение порядка. В наступившей мертвой тишине прозвучал тихий ответ: «Ми — мариупольски грэк». Последовал короткий взрыв смеха.

Не дожидаясь приглашения, я сказал, что моя мать украинка, а отец — цыган. И тотчас последовал ответ немца, выслушавшего переводчика:

— Нах дер мутер! Украйнер! —
Украинец! — перевел переводчик.

Приговор был окончательным, и я был определен в ряды украинцев. Теперь любой, кому бы пришла в голову фантазия что-либо возразить по этому поводу, рисковал схлопотать палкой по голове. Немцы возражений не терпели.

Приказано было всем разойтись. На поляне сгустились сумерки. Я понял, что нуждаюсь в биографии, максимально неопровержимой во всех подробностях, и часть ночи потратил на сочинение своей биографии-легенды, ибо «враг силен и опасен», а мне не хочется умирать только потому, что я еврей. Я считал это несправедливым, хотя не ждал справедливости от немцев и понимал, что любой из нас, оказавшихся в плену, имеет ничтожное количество шансов оказаться на свободе или дожить до конца войны, или прожить хоть сколько-нибудь продолжительный срок. Но быть расстрелянным только за то, что ты еврей, — нет! Такого решения душа не принимала.

Пока немцы гнали нас до Николаева, мне пришлось отразить еще несколько попыток разоблачить во мне еврея. То пристал ко мне на одном из этапов горбоносый и черно-

усый человек лет тридцати семи: «Що ж ти не признаєшся, що ти єврей? А ну, скажи «кукуруза!»»

От него я отделался сравнительно легко: обматерил его с ног до головы, сказал, что сам он жид и посоветовал хорошенько посмотреть в зеркало, прежде чем приставать к другим. И он отвязался, благо никто из окружающих его не поддержал.

В другой раз, шагая в колонне, где было уже около пяти тысяч человек, я не заметил, как оказался у края дороги, проходившей вдоль выжженной степной травы. Мы поравнялись с расположившимися в степи полевыми ремонтными мастерскими. Небольшая группа танкистов СС, в ожидании получения своей ремонтировавшейся техники, обратила внимание на идущую мимо колонну военнопленных: защелкали фотоаппараты, раздалась оживленные возгласы. А один из них, пьяный в дым, ухватил меня за рукав. Дуло его пистолета в упор смотрело мне в глаза, а губы повторяли один вопрос: «Юда?!»

Я отвечал отрицательно, эсэсовец стоял на своем. Я резко рванулся и зашагал дальше, ожидая выстрела в спину. Когда я понял, что и на этот раз пронесло, то невольно подумал о том, сколько же еще предстоит мне объяснений на грани жизни и смерти. И не лучше ли в одно прекрасное утро сделать два шага вперед навстречу тому, чего все равно не избежать? Но я, в который уже раз, прогнал от себя эту мысль.

Я тогда не верил в судьбу. Много раз слышал, как другие говорят: судьба — не судьба... суждено было... Сколько раз, когда кончался день в окопах, в последние минуты бодрствования я искренне удивлялся: как же это я все еще жив? не погиб сегодня? Должен был погибнуть, но

почему-то остался, живу. И как много было таких дней!

До Николаева немцы гнали нас целую неделю. За все это время нам ни разу не дали ничего поесть, даже символически. Чем мы кормились? Ягодами паслена, кукурузным початком, случайно найденным у дороги... Однажды прямо у нас под ногами оказались подсолнечные жмыхи, называемые на Украине макухой. Это было на одном из разбитых полустанков недалеко от Николаева, почти у самых рельсов. Впервые мне случилось утолять голод макухой еще в 33-м году. Мы на ходу стали набивать кусками макухи карманы и вещмешки. Я умудрился набрать довольно много макухи, оказавшейся почти единственной едой в лагере для меня и моих товарищей.

Лагерь

Первоначально лагерь военнопленных, где нас было около двадцати тысяч, располагался в селе Варваровка. Затем он был перенесен в Николаев, на территорию, примыкавшую к кораблестроительному заводу, взорванному нашими при отступлении. Около двух десятков аккуратненьких белых двухэтажных домиков, где еще совсем недавно жили рабочие завода, и расположенный поблизости стадион были обнесены тремя рядами колючей проволоки.

В сооружении ограды из колючей проволоки принимал участие и я. Нас приводили на эти работы из Варваровки. В первый раз мы не знали, зачем натягиваем колючую проволоку на высокие, врытые в землю столбы. Затем поползли слухи, что все это мы городим для себя. На меня эта работа нагоняла беспросветную тоску.

Случилось так, что я участвовал в завершении этих работ. До окончания рабочего дня оставалось еще два часа, а нашим конвоирам не разрешалось доставлять нас в лагерь раньше положенного времени. Стали искать для нас дополнительную работу. Кто-то из них обратил внимание на деревянную будку, похожую на киоск и заколоченную гвоздями. Приказано было разобрать ее на части и унести. В будке мы обнаружили разные вещи, видимо, принадлежавшие заводской охране: фуражки с лакированными козырьками, тряпки, два-три ведра, шапки-кубанки. Все это, кроме ведер, мы немедленно расхватывали. Я успел взять кубанку (фуражка меня никак не устраивала).

Запомнилось мне еще, как сержант, командовавший конвоем, приказал мне почистить ему сапоги. Он дал мне суконку, две щетки и одну маленькую, для гуталина, и стал подробно объяснять, что делать с этими принадлежностями и в каком порядке, полагая, видимо, что я никогда не чистил обуви и впервые держу в руках сапожные щетки. А я вдруг подумал о том, что меня ожидает, если немцы победят, а я не погибну.

Сержанту понравилась моя работа. Он воскликнул: «Гут! Прима!» — и дал мне сигарету.

Через несколько дней произошло переселение в новый лагерь. Очень скоро в нем уже насчитывалось около тридцати тысяч человек. Наше существование здесь было тяжелым, но, как выяснилось впоследствии, — более сносным, чем в других подобных лагерях. Хотя бы уже потому, что мы жили не под открытым небом, а в двухэтажных домиках в осеннюю непогоду. Из чего немцы готовили для нас баланду, я так толком и не мог понять. Ее можно было пить

прямо из котелка или из консервной банки, ложка была ни к чему. Каждое утро начиналось с раздачи баланды (единственный раз в сутки), а затем нас строили на стадионе в тридцать колонн по тысяче человек в каждой, по пять человек в шеренге. От нас требовалось немного: быстро разобраться по пятеркам (немцы ходили вдоль колонн с палками и выкрикивали: «по пят! по пят!»). Нерасторопные получали палкой по голове. Мы должны были, соблюдая равнение, простоять в строю, пока нас не посчитают и отправят на работу нужное количество людей.

Нежелающий попасть на работу старался угодить при построении в конец колонны. Сама по себе работа, да еще на немцев, никого не привлекала. Тем не менее, в желающих работать недостатка не было: на работу гнал голод. За пределами лагеря многократно возрастала возможность добыть пищу. Возможность эта еще больше увеличивалась, если ты попадал в немногочисленную команду — человек до десяти-двенадцати. Это и заставляло пленягу поторапливаться утром на стадион, чтобы оказаться в первых шеренгах тысячной колонны. Немцам же было безразлично, кто из нас будет или не будет работать: на всех работы все равно не хватало. Немцам было важно одно: беспрекословное повиновение стоявших в колоннах людей.

Уже на третью неделю существования Николаевского лагеря в нем ежедневно умирало более полтора-два человека. Вши ели нас поедом, и не было никакой возможности избавиться от них. Даже умыться в лагере можно было лишь в единственном месте, где из какой-то беспризорной трубы еле текла водичка. Но и желающих умыться было немного.

Для довершения общей картины следует описать единственное «развлечение», придуманное для нас начальством и регулярно повторявшееся утром и вечером. Каким-то образом в лагере обнаружили одного коммуниста и одного еврея. Обнаруженных «жидокоммунистов» изолировали, прикрепили к ним конвоиров и дважды в день на виду у всех прогоняли бегом по верхнему краю чаши стадиона. Коммунист был плотный человек, лет сорока, в матросском бушлате с нарисованными мелом на спине и груди пятиконечными звездами. Еврей был ростом поменьше, в солдатской шинели и пилотке, в ботинках с обмотками и нарисованными на спине и груди шестиконечными звездами. Он с трудом поспевал за своим рослым напарником. А среди тридцати тысяч загнанных в ад за колючую проволоку находились такие, кто хохотал и улюлюкал им вслед, выкрикивая обидные, оскорбительные слова.

Работа для нас находилась и внутри лагеря: что-то переносить, копать и т.п. Однажды я попал в такую команду: надо было пилить, колотить и складывать на зиму дрова. Командовал нами немец-конвоир лет шестидесяти, седой, с голубыми глазами, вооруженный винтовкой. Когда наступило время перекура, немец отозвал меня в сторону, увел за сарай, в который мы складывали дрова, и спросил по-русски:

— Ты еврей? — Нет, — отвечал я.

— Не бойся, я тебя не выдам, — сказал немец, но я и не думал признаться.

— Все равно, ты очень похож на еврея! — и велел подождать его за сараем.

Через несколько минут он вернулся со всем необходимым для бритва

(даже принес горячей воды), и с ножницами. Он наскоро остриг мои курчавые волосы, успевшие весьма основательно отрасти, а затем я побрился и умылся. Из небольшого зеркала на меня смотрел малознакомый мне человек, молодой, в кубанке, с лихо выпущенным из-под нее чубчиком и с усиками (я решил не сбривать усов). «Вот так лучше», — сказал немец.

Пока я брился, он рассказал, что попал к нам в плен во время прошлой войны, что видел от наших людей много добра по отношению к себе и другим пленным, научился говорить по-русски и хочет отплатить добром за добро.

После «парикмахерской» я почувствовал себя намного уверенней. Теперь узнать во мне еврея было уже значительно трудней, а дней через пять эта уверенность мне очень пригодилась.

Маленький красный лоскуток плотной бумаги

К тому времени со мной в лагере не было никого из моих фронтовых товарищей, с кем я доедал в Варваровском лагере макуху. Еще в Варваровке были отпущены домой жители близлежащих районов и областей (Херсонской, Николаевской, Одесской), а среди них и самые близкие мои друзья. Остальные (из России) попали в команды, отправленные в колхозы убирать еще оставшийся в поле урожай.

Была уже середина октября, на меня не раз накатывали волны отчаяния, и я терял веру, что наступят светлые времена хоть когда-нибудь, хоть для кого-нибудь. А крыло смерти распростерлось надо мной весьма неожиданно и быстро: у меня начался жестокий понос с повышением температуры. Меня перевели

в барак для больных (для нас эти двухэтажные домики были все равно, что бараки), которых никто не лечил и не кормил, но и не выгонял на работу. Сбегав в очередной раз в сортир, я остановился под стеной домика погреться на солнышке, потому что меня знобило. Меня корчило от боли в животе, когда мимо проходил молодой сержант из лагерной администрации (судя по его очкам и обмундированию). Он видел мои страдания, и очень скоро возвратился с пригоршней мелких коричневых гранул, высыпал их мне в карман шинели и, посоветовав жевать их понемногу, как жвачку, быстро удалился. Конечно, того, что он сделал, никто не должен был видеть. До конца дня я съел гранулы, и понос у меня прекратился.

На следующий день я стал в строй подальше от головы колонны, потому что ослабел и не мог работать. И тут услышал за своей спиной весьма любопытный разговор. Говорили негромко, однако я понял, что будто бы по средам возле домика или сарая, крыша которого виднелась за чашей стадиона, собираются украинцы, жители правобережной Украины, подвергаются какой-то проверке или допросу и в результате могут быть отпущены домой. Услышанному трудно было поверить, а еще трудней было решиться на какие-то действия. Теперь уже никто не командует ежедневно «жиды — выходи!», меня оставили в покое. А ведь немцы просто так не отпустят, будет какая-то проверка... Но только вчера я чудом спасся от верной смерти. Сегодня — вторник, значит, завтра — среда. И следующей среды может вообще не быть. Надо было рисковать.

В среду, после построения, я стал не спеша подниматься по крутому

склону, ориентируясь на крышу постройки. Строение оказалось большим сараем, возле которого немцы уже строили «по пьят» сходящихся туда пленяг. Я оказался почти в самом конце строя. За нашей шеренгой построили не более пяти-шести, остальных желающих прогнали.

Только теперь, почувствовав холодок на спине, я по-настоящему оценил степень опасности, которой себя подвергаю. Но отступать было уже поздно, а времени, чтобы подготовиться к предстоящему, — предостаточно.

Нас повели к особо отгороженному домику, где помещался комендант лагеря, там нас начали по пятеркам вводить в комендантскую резиденцию. Конвоиры дали нам понять, что каждый должен предстать пред светлы очи гер коменданта в наиболее выгодном свете, следует подтянуться, привести себя в порядок и выглядеть бравым солдатом, четко входить в кабинет, отдавать честь по-солдатски и т.д. К счастью, прошло совсем немного дней, с тех пор как я побрился и постригся и не узнал себя в зеркале. И это придавало мне уверенности. Шинель моя была перехвачена брезентовым брючным ремнем (кожаные немцы давно уже у нас отобрали), складки ее тщательно расправлены, а кубанка — чуть-чуть набекрень. Я решил непременно сыграть роль бравого солдата.

Побывавшие у коменданта возвращались в лагерь по узкому коридору из колючей проволоки, замыкавшемуся с двух концов калитками под охраной часовых. Таким образом, общаться с ними мы не могли.

А время ползло улиткой. Мы стояли в строю до полудня, когда комендант отправился обедать, стояли, пока он обедал, и лишь часа через

полтора после обеда я оказался у него в кабинете: поднялся по деревянным ступенькам на второй этаж, открыл дверь, вошел, закрыл за собой дверь, сделал три шага вперед, отдал честь и замер посреди комнаты.

За столом сидели два майора, и никак нельзя было определить, кто из них комендант. Справа от меня, у большой карты Украины, стоял переводчик в форме советского солдата, а слева, в углу, за небольшим столиком, что-то записывал немолодой немецкий солдат. Переводчик задавал вопросы, я отвечал, он переводил.

— Скажи свою фамилию, имя и отчество.

— Котлярчук Леонтий Гаврилович.

— Год рождения и национальность?

— 1922-й, украинец.

— Где ты живешь?

— В Киеве.

— Адрес?

— Госпитальный переулок, 6, комната 11.

— Жена, дети есть?

— Нет, я неженатый.

— Родители есть? Где они живут?

— Отец умер, я жил вместе с матерью. Она медсестра, ее забрали на войну.

— Профессия?

— Я закончил среднюю школу, и меня призвали в армию.

Мой ответ рассмешил немцев: у большевиков уже школьники воюют.

— Обещаешь ли ты верно служить великой Германии?

— Обещаю.

Вот когда мне впервые пригрозилась моя автобиографическая легенда!

Переводчик вручил мне маленький красный лоскуток плотной бу-

маги и объяснил, что с этим лоскутком, в пятницу утром, мне следует явиться к тому же сараю, чтобы получить аусвайс для следования к своему месту жительства, в Киев. Я отдал честь, повернулся кругом, но когда шел к двери, услышал, как один из офицеров говорит другому, что я похож на еврея. Я шел к двери, будто ничего не понимаю, и остановился лишь когда переводчик скомандовал «стой!», четко повернулся кругом, отдал честь и замер с едва заметной улыбкой на лице, стараясь оставаться бравым солдатом. Видимо, мне это удалось, потому второй офицер сказал: «Нихт вар, аб!» — и махнул рукой. Не дожидаясь перевода, я опять отдал честь и зашагал прочь из кабинета. Не спеша спускался я по лестнице, пряча поглубже в карман гимнастерки красную бумажку. А навстречу мне, бодро печата шаг, поднимался очередной претендент на получение бумажки.

Позже, когда я вновь и вновь прокручивал перед своим мысленным взором сцену у коменданта, стараясь понять, почему все-таки не оборвался тот тоненький волосок, на котором повисла тогда моя жизнь, я догадался, что фразу «он выглядит, как еврей», произнес не комендант, а его заместитель. Но какому же начальнику понравится, что подчиненный учит его бдительности? И комендант отверг предположение своего заместителя. Ну, а если бы эта мысль пришла в голову самому коменданту, если бы ему самому показалось, что я не лишен сходства с евреем?! Тогда он не стал бы искать подтверждения своим сомнениям ни у кого, и моя судьба была бы решена моментально и бесповоротно.

Итак, в этом эпизоде мне помог его величество случай. А в какой-то

мере и я сам себе своим поведением: ничто в нем не выдало моего волнения, я оказался изрядным актером. Впрочем, не мы это придумали, что мир — театр, а люди в нем — актеры.

Не успел я выйти из проволочного коридора, как передо мной оказался какой-то татарин. Он предложил мне триста граммов отличного серого пшеничного хлеба (граммов по сто пятьдесят такого хлеба иногда выдавали возвращавшимся с работы) и свой довольно потрепанный ватник в обмен на мою шинель. Чтобы исключить колебания с моей стороны, он объяснил мне, что немцы отбирают шинели у тех, кого отпускают из лагеря, а ватников не берут. Я ему поверил, сделка состоялась, и я немедленно съел доставшийся мне хлеб. Вместе с ватником я получил дополнительное количество вшей (в моей шинели вшей еще не было).

В пятницу утром, когда весь лагерь строился на стадионе, я пришел к тому же сараю, предъявил красную бумажку и был допущен в сарай, сквозь крышу которого просматривалось бледно-голубое, в редких облаках, небо конца октября. В сарае нас оказалось в несколько раз меньше, чем было в строю в среду. Тот самый немец, невысокий и седой, что писал в кабинете у коменданта, вызывал нас из строя по фамилии и вручал аусвайс, напечатанный на машинке немецким шрифтом на плотной белой бумаге. В аусвайсе значилось, что Котлярчук Л.Г. следует из Николаевского лагеря военнопленных в г. Киев, стояли две подписи, заверенные черной печатью с орлом. Затем немец обратился к нам по-русски с краткой речью, смысл которой сводился к тому, какие большие надежды возлагает на нас,

украинцев, великая Германия, и призвал честно трудиться для немецкого рейха. Затем нам выдали по буханке серого пшеничного хлеба с трехсотграммовым довеском (я вспомнил татарина) и отобрали шинели. После этого подвели к запасным воротам, внутренним и внешним, соединенным коридором из колючей проволоки, из-за которой уже тянулись сотни две рук за нашим хлебом, который я раздал почти весь, пока прошел короткий путь от внутренних до наружных ворот. Я знал, что за лагерной оградой голодным не буду, но не в силах был расстаться с довеском, который тут же съел.

Через несколько минут никого из нас уже не было у лагерных ворот.

Разумеется, я совсем не торопился в Киев, так как понимал, что являться мне туда ни в коем случае нельзя. Никакой матери в Госпитальном переулке у меня никогда не было, и вообще стоило мне встретить где-нибудь на улице случайного знакомого — и я тут же мог оказаться в гестапо. Оставшись один, я первым делом уклонился в сторону от большой дороги, по которой то и дело проносились немецкие грузовики и мотоциклы, распространяя непривычный запах высокооктанового бензина. Я не хотел привлекать к себе внимания немцев, да и прокоррмить на трассе было трудней, потому что реже попадались населенные пункты. Я шел не спеша от села к селу по степи, изрезанной балками, вдоль которых ютились эти села. Не помню, откуда взялась у меня холщовая сумка, но при выходе из лагеря она уже была у меня на плече и в первые же часы пути быстро наполнилась едой. Я с большим трудом сдерживался, чтобы не наброситься на еду, и в первую ночь спал

плохо, ворочаясь на посланной хозяйкой в сенях соломе, доставал по-немногу что-нибудь из еды и жевал. В пути меня одолевали всякие тревожные мысли и вши. Раза два встречавшиеся на моем пути немолдые мужчины интересовались моей национальностью. Я, как мог, усыплял их бдительность, хотя чувствовал, что на сто процентов сделать это не удавалось. Тем не менее, меня отпускали с миром, когда я предъяснял свой аусвайс.

В одном из сел я присел отдохнуть на лавочке у ограды и без всякой видимой причины потерял сознание.

Дед Кируша

Очнулся я от шума голосов непонятной речи. Это причитали надо мной соседки-молдаванки, полагая, что я умираю. Когда я пришел в сознание, они несколько успокоились, а у калитки оказался возвратившийся откуда-то хозяин дома, человек лет около сорока, и отвел меня в дом. Затем хозяин сходил за парикмахером, приветливым парнем-горбуном, который остриг меня под машинку, а хозяйка вскипятила в печи несколько больших чугунов воды для моей санобработки. Я разделся в чистое хозяйское белье. Всю мою одежду прокипятили в чугунах, а ватник сожгли: иного способа избавиться от вшей не было. Хозяева уложили меня в постель, настоящую, белоснежную, пахучую, и предложили отдохнуть у них денька два-три, на что я охотно согласился.

Два дня промелькнули быстро. Мне не хотелось покидать гостеприимный дом, не хотелось уходить от людей, которым до сих пор от души благодарен. Вечером хозяин сооб-

щил мне приятную, по его мнению, новость: завтра утром из села отправятся две подводы и несколько женщин в Новоукраинку, где находится большой лагерь военнопленных и где женщины надеются найти своих мужей, ушедших на войну. Хозяин договорился, что они возьмут с собой и меня, и, таким образом, ускорится мое путешествие в Киев. Откуда было ему знать, что я никуда не спешу?

Утром супруги Дымовы проводили меня на колхозный двор. Я с удивлением ощущал на себе свое чистое, без вшей, белье и обмундирование. Сумка моя была набита всевозможной снедью и белым пушистым молдавским хлебом. Неуютно было только от заползавшего под гимнастерку утреннего холода. Было уже 5 ноября. Зеленую травку прихватывал легкий морозец.

Вскоре подводы шагом двинулись со двора. Вдруг нас окликнула старушка, которая пожалела меня, что я в одной гимнастерке, и сбегала домой за стареньким ватником. Я поблагодарил старушку, надел ватник, и мне стало теплей. Через несколько минут село осталось позади, и каждый километр пути, хоть и медленно, но неумолимо приближал меня к Киеву.

Ездовыми на подводах были мужчины: один лет тридцати пяти, другой — рослый паренек, лет семнадцати. Старший оказался добродушным и общительным. Он стал подробно меня расспрашивать, и уже на первых километрах пути я объяснил ему, почему не тороплюсь в мой родной город, где у меня сейчас никого нет и где меня ждет существование впроголодь. Мой собеседник вполне согласился, что лучше бы мне задержаться где-нибудь по до-

роге, в каком-нибудь селе, и прожить там подольше. За разговором не заметили, как миновали несколько сел. Впереди, в балке, уже видно было следующее — Малиновка, где мои попутчики решили остановиться на обед и подковать лошадей у знакомого кузнеца. Возле кузницы распрягли лошадей и принялись за дело. Завязался разговор давно не встречавшихся людей, затем речь зашла и обо мне, и выяснилось, что для меня, похоже, есть возможность остаться в Малиновке, так как дед Кирюша Диброва, который «сторожует» на пасеке в колхозе (немцы сохранили колхозы), нуждается в помощнике и мечтает приютить у себя какого-нибудь хлопца из пленных, чтобы тот по ночам стерег пасеку, а днем помогал ему по хозяйству. Я решил попытать счастья, заручившись рекомендацией кузнеца. Крыша дома деда Кирюши была хорошо видна из кузницы, и я, не мешкая, ориентируюсь по крыше, направился туда.

В хате маленькая женщина, показавшаяся мне старухой (ей было всего сорок лет) как раз доставала из печи хлеб. Вместе с высокими белыми караваемы извлекались из печи большие румяные пироги — с тврогом и фасолью. Один такой пирог, горячий и пахучий, был немедленно предложен мне.

Минут через пять явился дед. Он был шестидесяти лет, бородат и основательно глух, и потому разговаривал неестественно приглушенным голосом. Сговорились мы с ним ментально. Он так мне обрадовался, что никакие подробности его не интересовали. Это был по-настоящему добрый, широкой души человек, родившийся и проживший всю свою жизнь в степи. Мы с ним очень быс-

тро подружились. Каждую ночь я уходил вместо него на пасеку, а днем помогал ему по хозяйству. Помогал мне сторожить пасеку симпатичный черный пес Куцолой — собственность деда.

Особенно понравилось деду мое умение ремонтировать разный домашний инвентарь. Я и сам удивлялся своему умению, так как никогда прежде этого не делал. Из старой колесной спицы я сделал для хозяйки два веретена, отремонтировал несколько старых граблей, два треснувших деревянных корыта, в которых в тех краях месят хлеб. Дед мною гордился и уговаривал меня жениться. Он очень огорчался тем, что я не посещаю деревенских молодежных посиделок с песнями и танцами. Там собирались, главным образом, девчата и несколько 16–17-летних мальчишек, начавших «парубковать», за неимением ребят более подходящего возраста. Дед Кирюша наивно полагал, что я чураюсь гулянок, потому что стесняюсь своего поношенного обмундирования, рваного ватника и обмоток. Он часто предавался мечтам, как мы поедем в Николаев, когда заколем кабана, и выменяем для меня на базаре сапоги и «твинчик» (пиджак). О костюме он даже не мечтал, и вовсе не от скупости: он готов был променять на мой гардероб всего кабана, но что-либо шикарнее сапог и «твинчика» оставалось за пределами его фантазии. Я же не собирался обзаводиться ни «твинчиком», ни невестой. Мысль о женитьбе вообще не помещалась в моем сознании, меня волновали совсем другие проблемы. Впрочем, и деду было далеко не безразлично то, что происходило за пределами нашего быта.

Новости мы узнавали из газетки «Нове життя», издававшейся в рай-

центре Еланце и помещавшейся для прочтения в витрине на колхозном дворе. Когда я ходил в колхозную мастерскую ремонтировать металлические грабли (мне нужны были тиски), то прочел в газетке, что немецкие войска уничтожили последний советский самолет и полностью окружили Москву и Ленинград. Я поспешил сообщить об этом деду, он рассмеялся и сказал:

— Ти що, Льюна?! Да ніколи тако́го не було і не буде, щоб німець Росію побідив. Попруть його наші і вигонять. Руський народ неперемо́жний. Так що ти не горюй, от побачиш! — и стал подкреплять свою убежденность историческими примерами, а я был доволен тем, что дед попался мне именно такой.

Вскоре я познакомился с непосредственным начальником деда Кирюша — колхозным пчеловодом, когда он пришел проверять пасеку. Пчеловод пришел утром, когда я собрался уходить. Он принес с собой белых лепешек, достал из погреба сотового меду и устроил «пир». Я впервые в жизни кушал свежий, прозрачный сотовый мед с белыми лепешками. Пчелы уже были переселены на зимний режим содержания, т.е. ульи находились в прекрасном сухом погребе, в который вели две двери: одна наверху, другая — внизу. Двери эти объединялись настоящим крытым коридором с лестницей. Наземная часть коридора и лестницы начиналась просторной площадкой, где был сооружен топчан, на котором спал сторож, дверь на площадке прочно запиралась изнутри. Площадка была вымощена стругаными досками. В погребе зимовало сорок ульев. Топчан был устлан овчиной, и укрывался я ночью тулупом, так что мне было тепло.

Пчеловод оказался приветливым интеллигентным человеком, рассказывал о пчелах, как они зимуют, потом очень скоро разговор перешел к тому, что не могло не волновать нас по-настоящему. И хоть каждый из нас был предельно осмотрителен и осторожен, я понял, что человек этот разделяет мой образ мыслей, что он не сторонник немецкой власти и не потерял надежды на то, что немцы здесь не вечны. У меня даже возникло предположение, что он связан с подпольем, но, возможно, такое пришло мне в голову, потому что уж очень мне этого хотелось. О партизанах много говорили, но никто их пока не встречал. Да и трудно было себе представить, где они могут скрываться в этой степи. Тем не менее, как-то вечером дед, придя домой, рассказал, что ходят слухи, будто километрах в тридцати отсюда партизаны разгромили немецкую комендатуру.

Через несколько дней я окончательно поверил слухам о партизанах. 17 декабря дед Кирюша явился домой совсем расстроенный и, глотая слезы, объявил, что гебитскомиссар (районный комендант) приказал всем военнопленным, нашедшим себе временное пристанище в селах района, следовать по месту назначения, указанному в аусвайсах, а не имеющих аусвайса — водворить в Николаевский лагерь. На выполнение приказа отводилось 24 часа. Я предположил, что приказ коменданта последовал в ответ на действия партизан.

На следующий день я должен был покинуть дом, уже ставший для меня родным.

Было 18 декабря, подморозило, поля и дороги запорошило первым снежком. Утром я отправился в сельскую «управу», расположенную на противоположном конце села, по

другую сторону балки, чтобы забрать свой аусвайс. Его мне без всякой волокиты вернули. Он лежал в том же пустом ящике стола, куда его полтора месяца назад положил староста, совсем еще молодой человек, который совестился посмотреть мне в глаза, и которого еще сполгода назад вполне можно было встретить в кабинете секретаря райкома комсомола. Он и сейчас ни о чем не стал меня расспрашивать, только решительно напомнил о том, что мне следует сегодня же покинуть Малиновку и отправляться в Киев.

Еще по дороге в «управу» произошел очередной инцидент, напомнивший мне, что я ежечасно играю со смертью. Когда по тонкому льду я перешел замерзший ручеек, направляясь к подъему из балки, навстречу мне попались два молдаванина в высоких барашковых шапках и тулупах до пят и стали меня расспрашивать, куда и зачем я иду, и у кого живу. Потом прозвучал и самый неприятный вопрос: может, я все-таки жид? Я притворился, что вопрос их меня насмешил, а среди контраргументов, кажется, сильнее других оказался тот, что немцы выдали мне аусвайс, который хранится в «управе». Они пошли своей дорогой, но лица их не выражали полной убежденности в истинности моих слов.

Эпизод этот можно было бы считать незначительным по сравнению с теми, о которых я уже говорил и еще расскажу, но в памяти они у меня остались все. Наверное, потому, что любой, самый незначительный, мог оказаться последним в моей жизни. Таких эпизодов было множество. Расскажу все-таки еще об одном.

Нас было трое, когда на второй день после освобождения из лагеря в одном селе нас пригласила к себе по-

обедать учительница, лет тридцати. Она накормила нас вкусным борщом и манной кашей. В первый раз после лагеря мы ели за домашним столом, покрытым клеенкой, из чистых крашенных тарелок. Учительница объяснила, что кормит нас манной кашей, чтобы не перекормить после длительного голодания и что нам следует есть почаще, но понемногу.

Она оставила нас на ночлег, но для этого надо было получить разрешение у старосты. И хотя мы все предъявили ему свои аусвайсы, он долго беседовал с каждым из нас, выяснял подробности биографии и лояльность отношения к немцам. Меня же он допрашивал с особо назойливым усердием, будто чуя что-то неладное, но о национальности все-таки не спросил, зато выяснял, как это получилось, что я — не комсомолец. При этом я видел горящее от стыда и возмущения лицо учительницы.

Вечером она рассказывала о своем муже, ушедшем на войну. Ей хотелось верить, что он жив, но она не желала его появления в доме в качестве отпущенного из лагеря военнопленного. Хотя нас не винила в том, что мы оказались в плену и не считала предателями. Она, как и другие, считала нас солдатами, с которыми случилась большая беда.

Дед Кирюша провожал меня как родного. Он пришел к обеду с моим земляком, тоже отпущенным из Николаевского лагеря. Таким образом, дед подыскал мне попутчика, чтобы не скучно было в пути. Мы основательно пообедали перед дорогой, сумки наши были плотно набиты харчами. Дед Кирюша провожал нас за село, и по щекам у него текли слезы.

В декабре день короткий. Пока мы достигли следующего населенного пункта, хутора Петровский, уже

начали сгущаться сумерки, и надо было проситься на ночлег. Постучались в крайнюю хату. В хате были хозяин, одноногий инвалид еще с Первой мировой войны, радушная хозяйка и два сына, старший из которых, мой ровесник, тоже совсем недавно был отпущен из плена.

На хуторе Петровском

Попутчик мой еще на рассвете покинул гостеприимный дом: он तोпился домой. Я же с вечера согласился на предложение хозяев отпраздновать с ними день Святого Николая (Миколу). Из утренних разговоров стало ясно, что здесь приказ гебитскомиссара Еланецкого района силы не имеет, поскольку хутор находится уже в Братском районе. Так что у меня опять появилась возможность задержаться, если повезет.

Весть о том, что в хате деда Сака (по Библии и святым Исаака) останулись на ночлег двое военнопленных, до утра облетела весь хутор. Первым поглядеть на залетных пташек пришел с противоположного конца хутора дед Коцупал. Тактично, как бы невзначай, он стал расспрашивать меня, кто я и откуда, что я за человек, куда иду, и кто у меня есть в Киеве. Говорили о солдатской жизни, о Николаевском лагере, о вшах, об умопомрачительных успехах немецкой армии, о колхозах и раскулачивании, о Сталине. И хотя мои собеседники были значительно моложе деда Кирюши (деду Коцупалу было чуть за сорок, но все называли его дедом), взгляды их были куда более консервативными, отношение к Сталину и колхозам — откровенно враждебным. Зато оптимизм их развивался в прямо противоположном направлении. Дед Коцупал уверял меня без всякого

сожаления, что советская власть уже больше никогда не вернется, что немцы, как только обоснуются здесь более прочно, завезут к нам из Европы множество всевозможных товаров, в том числе и разного «краму» (тканей). Он верил, что немцы непременно выполнят свое обещание ликвидировать колхозы и раздать землю тем, кто проявит себя рачительным хозяином, а значит, ему в первую очередь. Он выразил пожелание, чтоб я остался на хуторе и высказал предложение, что в будущем с моей помощью, человека грамотного, образованного, он мог бы заняться не только земледелием, но и открыть на хуторе торговлю «всяким крамом». Я сразу же разочаровал деда, объявив, что не чувствую в себе ни малейших способностей, ни охоты заниматься коммерцией, что дело это явно не по мне, а вот механиком по ремонту всякой техники, которой у немцев хоть отбавляй, я стал бы охотно. На том и порешили, с оговоркой, что этого еще надо дожидаться.

Тем временем хозяин, дед Сак, обратил внимание на мои требовавшие срочного ремонта ботинки и посоветовал обратиться к соседу Мыколе — сапожнику. Мыкола, к которому я отправился немедленно, жил в своей хате с молодой хозяйкой и грудным ребенком. Он приютил у себя и кубанского казака Жору, которому сам помог уйти из лагеря военнопленных как (будто бы) жителю хутора Петровского. Меня усадили ради праздника за стол, выпили по чарке, и Мыкола тут же, несмотря на праздник, принялся чинить мои ботинки, а Жора сообщил, что поживет у Мыколы, пока не найдет партизан. При этом молодая хозяйка со страхом глядела на Жору и на мужа.

Мне они заявили, что в два счета пристроят меня на хуторе, сообщив попутно, что здесь обосновался еще один пленяга, тоже освобожденный хитростью Мыколы — Иван Дорошенко (Дорошенко оказался впоследствии ленинградцем — Иваном Дорониным).

На хуторе Петровском Братского района Николаевской области я прожил почти год — до 3 октября 1942 года, а с Иваном Дорониным, который был старше меня на восемь лет, крепко и надолго подружился. Иван был кадровый артиллерист, дослужившийся до звания младшего политрука. В плен попал под Оржицей, где в окружении оказалась целая армия. О том, что он политрук, я узнал гораздо позже, а пока что мы с ним «нянчили» штук сорок колхозных жеребят, зимовавших в тесной, с низким потолком, конюшне. Для Ивана, несколько лет прослужившего в артиллерии, лошади были делом привычным и знакомым. Я же полностью подчинялся Ивану.

А с дедом Коцупалом, который приглашал меня торговать «разным крамом», мы стали приятелями. Жил Коцупал на хуторе едва ли не с самого его основания. Жителями хутора были обосновавшиеся здесь когда-то, еще во времена Столыпина, переселенцы из Киевской губернии. Поэтому меня признавали земляком, и эта деталь была одной из причин оказанного мне гостеприимства и заботы. Зимой мы с дедом часто встречались на работе: при обмолаоте сложенных летом в скирды пшеницы и ячменя. Он охотно брал надо мной шефство как над городским человеком, не знакомым с деревенской работой и непривычным к ней. Деду нравилось, что я отношусь к нему почтительно, охотно и

быстро перенимаю его мастерство, что ни разу ни в чем не проявил пренебрежения к деревенскому труду. А ранней весной, расположившись на обед под скирдой соломы, которую мы с ним сложили зимой, Коцупал, посмеиваясь, признался мне в своем лукавстве тогда, в день нашего знакомства, когда он предложил мне заняться торговлей лишь для того, чтобы проверить меня, так как я показался ему похожим на еврея. Теперь сама эта мысль казалась ему нелепой, и мы с ним хохотали над тем, что иногда может померещиться человеку. Уверен, что если бы тогда я ему по-дружески открылся, он выдал бы меня немцам.

Еврейский вопрос нет-нет, да и всплывал даже в таком глухом месте, как хутор Петровский. Был и здесь колхозный пчеловод, но в отличие от того, в Малиновке, этот был из дезертиров, просидевших начало войны и мобилизацию в кукурузе или в подсолнухах, пока «прошел фронт». Здоровенный детина, из «хитреньких», которые нигде своего не упустят, и, хотя не блещут интеллектом, всегда хорошо знают, чего хотят. Звали его Прокип. Относился он ко мне свысока и называл меня не Леней и не Ленькой, а Лево́й, явно намекая тем самым о своих догадках насчет моей национальности. Я пропускал мимо ушей ошибку Прокопа, показывая, что не придаю никакого значения такой мелочи, а, быть может, даже и не слышу, как он коверкает мое имя. А он ожидал, когда же я услышу и дам ему повод затеять подробный и неприятный для меня разговор и пустить в ход всевозможные догадки и намеки.

В украинских селах Лево́й не называют. Лево́й звали человека, жив-

шего в двух километрах от хутора Петровского, в Ясной Поляне. Это был еврейский мальчишка лет четырнадцати, который пас там скот и которого жители села скрывали от немцев. Знал об этом и весь хутор Петровский, но никто его немцам не выдал.

Жил припеваючи на хуторе Петровском еще один дезертир — Овсienko. Этот был с ехидцей, причислял себя к образованным и занимал должность колхозного счетовода-бухгалтера. С ним мне приходилось общаться почаще, он никогда не искажал моего имени, но я кожей чувствовал его недоброжелательство. Вечером 4 октября, накануне моего отправления в Германию, он выдал мне на дорогу хлеба и сала. Мы с ним были одни в колхозной контроле. Я уже собрался уходить, как вдруг услышал его вопрос: «Ленька, а ты не жид?» Я, естественно, отвечал отрицательно. Он настаивал, приводил всевозможные доводы в пользу своего предположения. Логика его оказалась для меня неожиданной: он сказал, что все евреи трусы, а я веду себя так, будто ничего не боюсь. Я ответил: «От бачите! Який же я, к бісовій матері, жид?!»

Ему нечего было возразить, и он только рукой махнул. Потом я понял, что он не собирался выдавать меня немцам, но очень хотел увидеть, как я испугаюсь и буду просить о пощаде и благодарить, когда он меня пощадит.

Интересовался моей национальностью просто так, из любопытства, скорей даже по-дружески, и хуторянин Федя, тоже отпущенный немцами из плена. У Феда была жена и двое детей. И жена его, светло-русая, голубоглазая, слегка расплывшая красавица Люська, как родная дочь похожая на известную певицу Лари-

су Долину, была еврейкой. Отец ее, крещеный еврей, жил в Братском. Долгое время немцы его не трогали, но весной 1942-го арестовали и увезли. Люськи преследования не коснулись, но было ясно, что покоя эта семья не имеет и молит Бога, чтобы пронесло. Как-то возвращались мы с Федором под вечер с работы верхом на лошадях. И тут, случайно оказавшись рядом со мной, он задал свой наболевший вопрос. «Та ти цо, Федір?!» — удивленно возразил я. Но Федя не унимался и предложил мне общеизвестный «тест»: сказать три раза «кукуруза». И тогда я использовал недозволенный прием: «Та хіба ж твоя Люська не скаже три рази «кукурудза»?!» — и произнес при этом заветное слово три раза именно так, как желал того Федя.

— Та яка ж вона жидівка? — искренне возмутился Федя. — То в неї батько колись був еврей, а потім охрестився.

— А в мене батько був циган, а мати українка, — ловко парировал я.

Федю мой ответ, видимо, удовлетворил, и больше мы к этому вопросу не возвращались.

А мою ровесницу Ульяну вопрос национальности, по всей вероятности, вообще не занимал. Она всячески старалась довести до моего понимания, что я ей нравлюсь, и пускала в ход все свое женское обаяние, которого ей было не занимать. Она мне тоже очень нравилась, но я держал себя в такой строгой узде и казался так безнадежно недогадлив, что ей оставалось только махнуть на меня рукой.

За неполных десять месяцев, прожитых на хуторе, я обучился почти всем видам сельскохозяйственных работ, побывав и конюхом, и пахарем, и водовозом. Я полол кукурузу

конными «сапалками», клал скирды, возил на арбе снопы с поля... Не пришлось мне только доить коров и косить. А когда оказалось, что никто из хуторян не хочет бесплатно пасти хуторское стадо (колхозное в начале войны спешно угнали на восток), то пастухом в конце июля назначили меня.

Три месяца изнурительного пастушеского труда показались мне вечностью. Но я был жив, встречал восходы солнца в степи, слушал пение птиц по утрам, радовался степному раздолью с пестрыми островками цветов, изменчивой голубизне неба над головой и хуторским ребятишкам, прибежавшим к нам рано утром, когда стадо задерживалось на часок вблизи хутора в зеленой ложинке с высокой сочной травой. Хуторские ребята прибегали к нам ради моих рассказов, которых для них у меня было великое множество и источником которых были прочитанные мною книги. Рассказывать я умел и любил, а ребячьи глаза и внимание, с которым они слушали, вдохновляли. Наблюдение за стадом брал на себя мой напарник Мыкола, который хотя и был постарше собиравшихся ребятишек, интересовался моими повествованиями не менее их. А мальчишки становились нашими добровольными помощниками на это время, пулей мчались «завертать» отдельных потерявших совесть коров. Рассказы мои могли бы длиться часами, но регламент устанавливали коровы, устремлявшиеся из ложбинки на степной простор. Так неожиданно-негаданно проявилось-таки мое педагогическое призвание.

В сентябре я познакомился с учительницей школы, открытой немцами в Петровском. Она повела своих первоклассников на прогулку в степь,

а мы с Мыколой и коровами оказались у них на пути. Не помню, с чего начался разговор, но учительница, которая была моей ровесницей, предположила во мне человека образованного. Девушка сообщила, что в районе ощущается острый недостаток в учителях, и что я мог бы, если б только захотел, сменить должность пастуха на должность учителя. Я очень устал от своей работы, коровы снились мне по ночам, но — сблизиться с властью «нового порядка»?.. Я привел какие-то причины, вынуждавшие меня отклонить столь заманчивое предложение: рваный ватник, отсутствие обуви... Но как раз эти препятствия были, по мнению учительницы, легко устранимы. И все-таки она поняла: ей не удастся уговорить меня стать учителем. Меня же смутила ее невозмутимость. Казалось, она не видит ничего предосудительного в том, что «при немцах» стала учительницей. В ее аполитичность я поверить не мог: все-таки получила среднее образование в советской школе, наверняка была комсомолкой... Значит, просто решила приспособливаться к условиям новой жизни, которые, как она полагала, останутся теперь навсегда. А может быть, просто жила сегодняшним днем, не думая о возможной грядущей ответственности.

На должности пастуха я и пробыл до 3 октября, когда пришел приказ отправить двух хуторян на работу в Германию. Хуторское начальство сразу определило кандидатуры «добровольцев»: выбор пал на меня и на Ивана. Нам надлежало явиться в село Надеждовку для медицинского осмотра и оформления документов. Там же хранились и отобранные у нас аусвайсы, когда мы стали жителями хутора Петровского.

В великую Германию

По дороге в Надеждовку (километра четыре через балку) мы с Иваном имели возможность свободно обсудить создавшееся положение. На хуторе у Ивана была уже жена, и он не «ерзал», хотя и говорил иногда о партизанах, которых нигде не было. В это утро моего Ивана как будто подменили: всю дорогу он придумывал всевозможные варианты побега, хотя вариантов-то по сути и не было, ибо негде нам было укрыться в бесконечных николаевских степях. Да и времени для побега оставалась — лишь сегодняшняя ночь, потому что завтра на рассвете надеждовские полицаи придут за нами, чтоб сопроводить нас в райцентр, куда будут сгонять со всего района таких как мы. Предлагая проекты побега и слушая мои возражения, Иван в глубине души, видимо, и сам в их успех не верил. Вывод напрашивался один: пока придется покориться обстоятельствам, а по пути в Германию, быть может, и представится случай сбежать.

Справедливости ради должен заметить, что Иван набрался смелости (или дурасти?) заявить в полиции, что отправляется в Германию вовсе не добровольно. У меня же были другие проблемы: предстоял медицинский осмотр, который вполне мог оказаться для меня роковым. Я старался как можно меньше привлекать к своей персоне внимания. И впоследствии Иван не упускал случая упрекнуть меня в том, что «юридически» я в Германию поехал добровольно (юридически он — тоже).

Медицинский осмотр проводил единственный на всю больницу врач — «старичок» с небольшой с проседью бородкой, всем своим об-

ликом напомнивший мне Терентия Осиповича Бублика из пьесы Корнейчука «Платон Кречет». И вот я ожидаюсь под дверью врачебного кабинета, где уже находится Иван и куда должен зайти и я. Собрав все свое мужество и хладнокровие, я внушил себе, что это просто одно из многочисленных посещений врачебного кабинета, ничем не грозящих мне.

В кабинет я вошел уверенный и спокойный. И «земский врач» оказался на высоте. Осматривая меня, раздетого донага, этот интеллигентный человек, казалось, был озабочен лишь единственным вопросом: нет ли у пациента венерических или каких-либо иных заразных болезней, представляющих угрозу для великой Германии. Весь его облик ничего не выражал, как бы приглашая тем самым и меня воздержаться от каких бы то ни было эмоций. Ну, какие могут быть эмоции при обычном медицинском осмотре? И мне оставалось только, принимая правила игры, невнятно пробормотать свое «спасибо» и покинуть кабинет.

Через двое суток мы уже были в Вознесенске, а еще через 2–3 дня — в эшелоне. Мои солдатские ботинки к тому времени окончательно развалились, так что в великую Германию я следовал босиком. По дороге нас выгрузили в Перемышле, где мы в перевалочном лагере ожидали комплектования большого эшелона. Там я во второй раз подвергся такому же осмотру, как в Надеждовке, когда нас подвергли санитарной обработке в бане. После мытья нас, голых, загнали в просторное помещение, за железный барьер, по ту сторону которого сидел на возвышении врач в белом халате и резиновых перчатках. Он осматривал подходивших к

нему по одному через узкий проем в барьере. Толпа голых людей быстро таяла. А я все не решался приблизиться к проему. Что если этот врач пожелает задать мне нескромный вопрос? На этот случай у меня все-таки заготовлено было объяснение. Я помнил, что у нас во дворе жил Вовка Осичной, сын дворника, украинец, подвергшийся в раннем детстве операции обрезания по чисто медицинским показаниям в связи с образовавшимся у него загноеием. Вовку дразнили иногда жидом и обрезанным. Сочиняя себе биографию, я решил использовать этот сюжет в самой безвыходной ситуации. Слава Богу, не пришлось. Врача в резиновых перчатках также интересовала лишь кожно-венерологическая сторона вопроса. Расово-национальная сторона дела его не занимала.

В Перемышле Иван все же склонил меня к побегу. И случай вроде бы представился.

Побег

Несколько дней мы ожидали формирования эшелона. Делать нам в лагере было абсолютно нечего, и мы с Иваном целыми днями лежали на траве, греясь на все еще ласковом октябрьском солнышке. Глаза и мозг Ивана напряженно работали в поисках хоть малейшей возможности сбежать. Я же считал эту затею бессмысленной, не понимал, что в таких обстоятельствах можно придумать. Но Иван все-таки придумал. Он обратил внимание на маячившую у старых деревянных ворот в белой

кирпичной ограде фигуру охранника. Ворота эти никогда не открывались, для чего же тогда охранник? Поверху была натянута в несколько рядов колючая проволока, надписи предупреждали, что она под током. Иван предположил, что солдат охраняет щель под воротами, утонувшую в глухом высоком бурьяне. Мы упорно вели наблюдение за воротами и однажды заметили, что охранник отлучился. Иван заявил, что нужно бежать немедленно. Если я откажусь, он уйдет сам. Ни минуты не веря в успех этого предприятия, я посчитал своим долгом следовать за Иваном. Конечно же, у нас не было и не могло быть никакого плана побега. Мы даже не имели представления, в какую сторону двигаться, когда окажемся по ту сторону забора.

Высокая трава в самом деле скрывала от глаз щель, через которую мы без труда выбрались наружу, никем не замеченные. Вдоль ограды росли высокие деревья, не было ни души. Перед нами поднималась высокая насыпь железнодорожного полотна, нам оставалось лишь перемахнуть через нее. Но подняться удалось лишь до середины: с насыпи на нас смотрело дуло пистолета в руках человека в штатском. О том, что было дальше, стыдно и страшно вспоминать. Нас вернули в лагерь и жестоко избили. Больше мы в подобные авантюры не пускались.

А на следующий день товарный состав увозил нас в Германию.

(Продолжение следует)

*Вступительная статья и публикация
Романа Ленчовского*